



Борис Евсеев

ЕВСТИГНЕЙ

роман-версия

БОРИС ЕВСЕЕВ — ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА» 2008—2010

Борис Евсеев
Евстигней

«WebKniga»

2010

Евсеев Б. Т.

Евстигней / Б. Т. Евсеев — «WebKniga», 2010

Борис Евсеев – прозаик широко известный, лауреат нескольких литературных премий, финалист «Большой книги» двух последних сезонов... Но его новый роман – это настоящее открытие, счастливое совпадение двух талантов – автора и его героя. Сам музыкант по образованию, Борис Евсеев, по сути, вводит в отечественную культуру совершенно новое лицо, и какое! – великого композитора, гения русской музыки Евстигнея Фомина. Загадочная и трагическая жизнь Фомина – обладателя диплома Болонской филармонической академии, – не востребованного в России до конца жизни, воссоздана по редким архивным документам. Екатерина II и Павел I, Иван Бецкой и Николай Шереметев, падре Мартини и аббат Маттеи, Петр Скоков и Леопольд Моцарт, Гаврила Державин и Яков Княжнин, актер Дмитриевский и палач Шешковский – каждый из них занял свое место на страницах этой историко-биографической партитуры.

© Евсеев Б. Т., 2010

© WebKniga, 2010

Содержание

Часть первая	9
Глава первая	9
Глава вторая	15
Глава третья	18
Глава четвертая	25
Глава пятая	30
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Борис Тимофеевич Евсеев Евстигней

Валерию Вороне, другу и однокашнику посвящается

Лето 2009-го. Душный вечер, июнь.

Уже на подступах к московскому крохотному театрику, тесно вжатому меж двух высоких домов, толпятся люди. Спрашивают лишний билетик, негодуют (нет афиши!), волнуются: не будет ли отмены?

Здесь же только что выгрузившаяся киногруппа: двое парней в цветастых косынках, маленький, подвижный как обезьяна режиссер и вальяжная операторша – бритая наголо, с пригасшей сигарой во рту. Квельый ассистент, кляня жару, тащит в зал треногу и камеры. У киношников – вид загадочный, они что-то знают и поэтому посматривают на окружающих свысока. Зрителям же ничего толком не известно: представление готовили без огласки, на скорую руку.

Внезапно путь киногруппе пересекает выступивший откуда-то сбоку человек, одетый в джинсовую пару. Лицо – жестковатое, сохлое. В ноздре кольцо, по лицу ползет ухмылочка, взгляд добычливый, цепкий. Да и движется джинсовый необычно: мелким воробьиным шагом, бочком. Левую руку при этом держит, полусогнув, перед собой. На руке, под мешковиной, что-то вздулось горбом: шевелится, подрагивает.

Попугай? Мартышка? Ворон?

Человек с кольцом в ноздре подходит к театральной двери. Выбежавший навстречу служитель сразу пропускает его внутрь.

Тут новый всплеск разговоров: они то разгораются, перелетая от одной кучки собравшихся к другой, то медленной летней трухой оседают вниз.

В одной из кучек уверены: будет встреча со знаменитыми соотечественниками. И нарочно для них сыграют нечто необыкновенное, может даже – вновь открытое. В другой кучке твердо знают – предстоит обычный концерт: с оркестровыми увертюрами, ариями, отрывками из опер. Только вот петь и играть будут не москвичи, а петербуржцы. Ну а знаменитые соотечественники (где-то близ Кремля или даже в самом Кремле заседающие), глядь, на концерт и пожалуют!

Сквозь распахнутые, но плотно затянутые шторами створки театральных окон сочится слабый, дрожащий звук. Звук этот – лопающийся, вновь набухающий – словно капля влаги в раскаленном московском воздухе, в широкой московской бездне. Вместе со звуком растет едва уловимая и вроде ни на чем не основанная тревога.

Но мало-помалу и звуки, и хаотические движения людей выстраиваются в некий порядок: чуть отступает жара, сквозь магнитную рамку в зал по одному проникают доставшие билет. Остальные, кто лениво-беспечно, кто резко-раздраженно, движутся взад и вперед, неотступно вглядываясь в зашторенные окна, пытаются хоть таким способом пробиться в театр.

Вдруг, в минутном отрезке тишины, со стороны метро – визг, скрип!

Приближается, пошатываясь – словно соскочив с подпорченного диска, – напроць забытая старинная русская музыка.

Кое-кто из безбилетных оборачивается: отыскивая удобное для сбора милостыни место, но при этом ни на минуту не прерываясь, на старинной колесной лире играет какой-то приезжий. Лира, висящая на веревке поперек живота, корпусом своим схожа с утолщенной гитарой или, скорей, с виолончелью. Приезжий – в расшитой зеленым и красным рубахе, босой – с туповато-сладкой улыбкой глядит перед собой, что-то в такт музыке бормочет.

Присмотревшись, безбилетные видят: играющий на лире слеп. Его тут же начинают гнать взащей: вниз, в переход, к побирушкам немывтым! Чего тут, близ оперы, отираться? Тут музыка другая!

Обхватив старинную колесную рылю (так сам слепец ее, бормоча, называет) для верности сразу двумя руками, прогоняемый уходит: мимо сталинской полувысотки, к виднеющейся неподалеку церкви.

Взгляды безбилетных вновь устремляются к театру.

А там, внутри, уже собрались (запущенные через служебный вход) знаменитые соотечественники. Прибывшие из Европы и двух Америк, из Африки Северной, Южной и даже из Австралии, они расположились в первых рядах: фраки, визитки, ковбойки, сарафаны. Снова визитка, опять фрак. Кто-то никак не хочет скинуть с головы неуместное в театре сомбреро.

Народец посиволापей – отечественного закваса – одетый без выдумки и вычур, томится в рядах задних.

Знаменитые ждут начала оперного концерта в позах свободных – но чинно, благостно.

Сиволاپые прыскают, жужжат, едва ли не щелкают орешки.

А концерт все не начинается!

Гул недовольства, громок рукоплесканий...

Тут, стараясь не привлекать к себе внимания, без позерства и помпы, по одному, по двое – начинают проникать через зрительный зал, поднимаются на сцену и пропадают за кулисами персонажи будущего оперного спектакля.

Всё как принято, всё по моде!

Однако что-то на этот раз и по-иному.

Не праздничная расслаба – ясно угадываемое беспокойство рыщет по залу. А ведь в зале не одни случайные люди, которых можно вот так, запросто раздражать, тревожить! Чуть поодаль от велюровых пиджаков, в стороне от брильянтовых брошей и запонок видны блаженные лица, угадываются полураскрытые губы и легчайшие полуулыбки знатоков истинных.

Но истинные тоже начинают волноваться. Откуда оно, это волнение, взялось?

Может, слишком ладно сидят на героях предстоящего спектакля парики? Совсем уж безукоризненно подогнаны кафтаны в плечах, лифы в талиях?

Или причина в другом? И актеришки эти – никакие не актеры, а тайно вывезенные из питерского музея и современной наукой оживленные восковые куклы, лишь вообразившие себя в ладных костюмах живую плотью?!

А может, всё проще?

Взял да и разбрызгал из гигантского пульверизатора какой-то шустрый администратор невско-балтийский, еще не до конца слежавшийся воздух. Взял да и дал нюхнуть чего-то запретного, сладко тревожащего, только в этом полузабытом запахе и существующего! Вот запах и дурманит, вот и наркотизирует.

Сам же администратор спрятался. И теперь из-за кулис подсматривает за зрителями-недотепами и подсмеивается над ними, глуповато водящими в полутьме сырими от ловли неуловимого носами...

Все, все возможно! Но только героям будущих оперных сцен ни всклокоченные мысли зрителей, ни обывательская тревога совсем не передаются: они идут себе и идут!

Бесшумной (едва ли не бесплотной) толпой проследовал хор.

Прошли оркестранты. Растворились в театральной мгле угрюмые статисты.

Вслед за статистами – одинокая дама: перегибаемая вперед шитым по покрою восьмидесятих годов XVIII века пышным платьем, с громадной корзиной волос на голове, с подозрительно узким, гневно-капризным ртом.

Плакальщица? Судьба?

За дамой – губернатор Державин, со звездой на груди, веселый.

За Гаврилой Романычем совсем молодой, однако ж уже и пышнотелый, некий провинциальный секретарь. Не Крылов ли Иван ли Андреевич ли? Он, он! Сочинитель комических опер и «Почты духов», о баснях пока и не помышляющий!

За Крыловым – растерзанный Княжнин: в бархатной алой накидке, мокроволосый. Княжнина волокут под руки два ката в мышинных балахонах, с узкими прорезями для глаз.

Далее следуют:

Его высочество Павел Петрович, наследник престола.

Супруга наследника (вторая).

Матушка Екатерина.

Матушке вослед машет истово, машет страстно, машет сдернутым с головы длиннохвостым, со змейками, париком – тайный советник Шешковский.

Чуть в отдалении Иван Иванович Бецкой – по настырному слуху, отец Екатерины Великой.

За ними:

– несравненная Алымушка;

– полковой священник отец Иоанн Лукин;

– великий полифонист падре Мартини; с ним – аббат Маттеи;

– чех Ванжура, музыкальный любимец государыни Екатерины;

– некая Езавель;

– Клаудио Антонио Гальвани, профессор Ордена Иисуса;

– Филька Щугорев, «издевочный слуга».

От Фильки чуть поотстав, стеноя и охая, – скрипач Соколовский, автор не им сочиненной оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват».

И – наконец!

Не слишком рослый, к тому ж еще и сутулящийся, в каштановом растрепанном парике – музыкант. Скорей даже – музыкантишко. Под левой подмышкой скрипка, в правом кулаке намертво зажат смычок. Цепкостью ухватки схож с капельмейстером. Блаженной задумчивостью – с выжившим из ума подателем прожектов...

А вот с теми, что скрылись за кулисами, сутулящийся схож не слишком: уж он-то не опутан сетью капризов, не продернут томным изыском! Видно, что не трусоват, не хлипок. Не шаркун и не говорун, не доносчик, не бузотер! Одна беда – замкнут, угрюм.

Кое-кому из зрителей при виде капельмейстера наверняка приходит на ум: да ведь на таких-то (не бузящих, упертых) всегда и держалась Россия! При Чесме и Кагуле, у Рябой Могилы и под Измаилом, у Халхин-гола и под Сталинградом, на Зееловских высотах и близ Рокского тоннеля...

Пока музыкант шагает, некоторые из зрителей крепко ухватывают еще одно: не обязательно герою русской жизни галопировать на плацу! Греть барабанами в Гатчине! Манерничать в Кремле или в Малом Зимнем! Вполне для некоторых героев достаточно дать озвучку музыке боя, еще лучше – музыке мысли...

Звук, зародившийся в гулком московском колодце, растет. Музыкант со смычком, зажатый в кулаке, движется к сцене неуклонно. Однако внезапно (на чей-то дерзкий смешок) оборачивается: грозно, гневно. Зеленоватые глаза его при этом вспыхивают, как у рассерженной кошки.

– Евс-стигней-й! – вскрикивает кто-то истошно, признав героя.

Звук и крик сливаются в одно. Музыкант быстрыми шагами взбегает на сцену. Еще миг – и, досадуя на шум и крики, скрывается он за занавесом.

Тут – снова неожиданность.

Вслед за Евстигнеем на сцену бочком выступает человек в джинсовой паре. Дойдя до середины, он останавливается, отводит в сторону полусогнутый локоть, сдергивает с шевелящегося горба мешковину...

Серо-коричневая, хищная, с белым горлышком птица, для которой на одном из театральных выступов загодя выложили кровавый кус мяса, слетает с руки. Однако вместо того, чтобы рвать и полосовать мясо, птица устремляется к растворенному окну и, отыскав едва заметный просвет меж шторами, вырывается наружу.

Птицелов, соря матюками, кидается к выходу. За ним – радуясь скандалу – бритоголовая операторша. Смех, шиканье, гул.

Кто-то из бывших соотечественников вскакивает и начинает ни к селу ни к городу поносить и мундир, и самого проследовавшего на сцену наследника престола Павла Петровича.

Начало спектакля, рассчитанное на уподобление музыки полету птицы, сорвано?..

Тем временем на улице некоторые из безбилетных резко вздрагивают: взмыв от окна вертикально вверх, потрепыхавшись меж проводов и рекламных перетяжек и лишь после этого широко расставив крылья, серо-коричневая, верней коричневато-серая, с белым горлышком птица устремилась не на окраину Москвы, не в поля, – устремилась в самое пекло, к центру!

Что делать птице в шумном городе? За каким чертом летит она в раскаленное пекло?..

Впрочем, даже самые упертые из безбилетных перестают вскоре об этом думать. Сизое московское предвечерье, затягиваясь новенькой вольфрамовой кожей, зарастает, как рана. И уже никто не обращает внимания на то, как, сделав несколько широченных кругов, малый городской сокол, сокол-чеглок, возвращается на прежнее место, к театру, взлетает на крышу полувысотки и там до вечера, почти до ночи – затихает...

Ну а в зале малый сокол, вчера уловленный сетью джинсового птицелова, а сегодня дерзко из театра упорхнувший, взбивает краткие пересуды:

– Учили его мало...

– Улизнул-таки, молодчага!

– Придавили б ему горло как след, глядишь, и сел бы, где положено.

Однако ни скомканным началом, ни разговорами музыку уже не остановить!

Гаснут светильники, плотная голубоватая ткань, укрывавшая сцену от досужих взглядов, разлетается в стороны. Вздрагивает, запускаясь всеми своими бесчисленными механизмами часа на два, на три, адская машина театра! Мощный удар литавр – и к потолку, к лепным плафонам летит вступительный аккорд: слитно-прозрачный, чистый.

Короткая пауза, и...

Часть первая ПУШКАРСКИЙ СЫН

Глава первая Люди, чернила, прель

В мертвый час, после фрунта и умываний, после дневного короткого сна явились без доклада трое: солдат Федотов, женка его, с ними малолеток некий.

Денщик завозился в палисадах, проморгал, скотина.

Денщику – взбучку. Вошедших – слушать. Все одно до вечера помирать со скуки.

Капитан лейб-гвардии Измайловского полка Козодавлев (рябоват, росту среднего, зато жилист и на руку скор) потянулся с лежанки за епанчой. Хотел накинуть на плечи, передумал.

– Ну? – лейб грозен, могуч, но в грозе своей ясен и чист: медные молнии на мундире сверкают, зеленое сукно расправлено, на красных обшлагах – ни пятнышка.

– Так что... Ваш бродь... Мальца означенного, стало быть... того... В Академию желали б!

– Как-с? Плохо слышу! – молнии еще острей, но в голосе теперь явная насмешка. – В А-ка-демию-с?

– Точно так. Осмелюсь доложить: Академия художеств и при ей – Воспитательное училище. Ея Императорское Величество матушка-государыня учредить изволили...

Мысли козодавлевские, до того обрывистые, всклокоченные, враз утихают, смягчаются, начинают течь по приятному руслу.

«Матушка-государыня... Женского полу, а ума – палата! Ей-ей палата! Учредить изволила... Хотя это вроде еще предыдущая матушка – Елизавет Петровна – изволила... Пуншу бы сейчас али на худой конец сбитню: дрожь какая-то... Так и накатывает, окаянная. От гнили, што ль?»

– В Академию, говоришь? Гм... Дурного покуда не вижу. Токмо я-то здесь при чем?

– Так что, осмелюсь... – от изумления жизненным изворотом и от неумения изумляющую жизнь выразить в приличествующих словах Иван Петров сын Федотов морщит лысеющий лоб, багровеет, затем окончательно сбившись, бормочет: – Слыхал я ненароком... Его высокоблагородие секунд-майор Сушков говорить офицерам изволили... Про это про самое... Люди знающие и присоветовали, того... по начальству...

«Сгорел, сгорел. Пропал, как швед под Полтавой...» Глаза солдата мимо воли закрываются.

– Удостоверить... – это вдруг шепотом, но отчетисто, даже весьма настойчиво, Иванова женка. – Возраст мальчика удостоверить, ваше высокородие, извольте.

– Как звать?

– Меня-то? Меня – Аксиньей. А малец – Евсигней сын Ипатов.

В глазах козодавлевских скуки как не бывало. Сразу чертики, бесенята: пляшут, смеются. Личико рябое озаряется.

– Иван Петров сын Федотов! – строгость, хотя бы и напускная, для низших чинов необходима, пользительна. – Малец, стало быть, не твой? Отвечай сей момент без утайки!

– Вотчим я ему. Отец его, Ипат Фомин, – помре. Был же – канонер Тобольского полку. А малец ничего себе, шустрый...

– Шустер, говоришь, плутяга? В отца покойного? Али в мать?

– В меня, ваше благородие, в мать...

Лейб теперь расположен почти отчески.

Аксинья ему определенно нравится. «Ишь, шельма. Второго мужа себе заимела. Чем она их берет? Разговором? Изгибом телесным?»

Аксинья капитану нравится, а вот к нижнему чину Федотову следует, видимо, возыметь чувства обратные. То бишь принять меры. Впрочем, какие сейчас меры? Пить хочется, пить!

Меры откладываются.

– Малец какого исповеданья?

– Так что – греческого!

– Кто крестил?

– Отец Иоанн Лукин, полковой с... священник...

– А годков ему сколь?

– Пять год, да восемь месяцев, да девять дней.

– Тэк-с. Ежели вычесть из сегодняшнего – получицца, получицца... День-щик! Бумаги из канцелярии мне наилутшей да прибор чернильный – сей момент!

Чернила есть и в квартире, но капитану хочется пустить нижним чинам блеску в глаза: чернильный прибор в канцелярии из драгоценного камня сработан!

Денщика словно ветром сдуло. Бочком улеглось молчанье.

Говорить с солдатом и его женкой? Невозможно. Молчать далее? Истомишься.

Тут снова Аксинья:

– Августа пятого дня Евсигнеюшка родился... Сперва– легко шел... А уж опосля и мне, и ему тяжко пришлось...

«Голосом берет. Точно, голосом! Говорит словно поет. Сладко так, гортанно. Как на плацу солдатик, от фухтелей изнемогающий. Фухтеля? Да-с. Именно! Фухтелями бы ей для начала и пригрозить. Но это сперва лишь. А потом нежно так, ласково: ид-ди суда!»

Через четверть часа вернулся денщик: с бумагой, с чернильным прибором – две баночки с крышками, одна с песком мелкозернистым невским, для присыпки, другая с чернилами крепкими, неразбавленными. Перо, хранимое для записи недоимок и стихотворных строк, у капитана всегда под рукой.

Денщик все еще держит чернильный прибор в руках.

«Запыхался, чертяка, бежал... А пускай еще побегает!»

– Денщик, квасу!

Уже через полминуты денщик Прокопий – в плечах барина вдвое шире, – бережно неся глиняный кухоль, протискивается в низенькую светелку, льет в кружку, кланяясь, подает.

Козодавлев пьет, фыркает, встряхивает головой, встряхивается всем телом, нюхает зачем-то чернила, озабоченно встряхивает баночку с песком, дует на заветное перо и уж после всего на поданном листе собственноручно выводит:

«Сим свидетельствую, что сынъ бывшего Тоболского пехотного полку полковой артиллерии канонера Ипата Фомина сына прозваньем Фомина, малолетний Евсигней Ипатов родился в 1761-омъ году августа 5 дня, крещен того ж полку полковым священником Иваном Лукиным.

Коему Евсигнею пят лет, восем месяцев и девять дней.

Во уверение чего и подписуюсь:

Лейб гвардии Измайловского полку капитан

А. Казадавлев».

Капитан с наслаждением посыпает написанное песком.

Аксинья кланяется в пояс, малец прячется в материнных юбках, солдат Федотов слизывает поочередно с каждого уса капельки пота. Пронесло! Враз расслабившись и заглотив побольше воздуха, все трое пятаются к дверям, собираются восвояси. Им вдогон – затем, чтобы простотой капитанского обхождения не обольщались, – зычно, грубо:

– Да глядите мне оба! Мальца попечением не оставлять! А то вам бы токмо новых мальцов заводить, а до прежних и дела нет. Кругом арш-ш!

Квартера пустеет. Лейб все еще безобразно трезв. Да и холост к тому ж. Жениться? Не слишком виден. Из деревень присылают неисправно. Долги обступили. И...

Жесткий капитанский пояс намял живот. Жизнь не вполне исправна, к тому ж – туговата.

Вольностей необходимо, вольностей!

Однако вместо вольностей дворянских в приоткрытую дверь – запах кислого хлеба. Да питерская прель, тянущая за собой все тот же пугающий озноб: чего ждать? И откуда? Детей нижних чинов – в Академию?! В указе недавно читанном – каковой указ теперь гвоздем в голове сидит – так прямо и сказано: «Кухаркиных, також и кучерских детей – учить ремеслам и художествам».

Взять хоть сего малолетка, сего пушкарского сына, – он, что же, геометром, архитектором станет? Взять его и выпороть, вот и весь сказ! Да ведь могут и не позволить.

Каково-с?

Капитан Козодавлев передергивает плечами. Словно бы хочет изъяснить кому-то невидимому: бумагу-то он написал (пусть доброту его помнят), а насчет того, чтобы пушкарскому сыну геометром быть, – нету его согласия!

Вокруг, однако, никого. Сообщить про свое несогласие некому. Одна тишь и краткое весеннее онемение. Да дымок от невидимого костра, да питерская, белесая, липнущая к щекам и к носу хмурость, впротчем, иногда переходящая в легкую и дурашливую веселость...

Профессор анатомии Пекен – твердая рука, острый ум, – ощупав семерых мальцов кряду, на восьмом споткнулся.

Здесь, в Санкт-Питер-Бурхе, охватить все и сразу профессор не в состоянии. Уяснить русскую повадку не может. Как так? Гнутые сопли, черные спины – но зубы сцеплены намертво. А брови – те словно бы навсегда нахмурены. Характер делает здоровым? Характер – само здоровье и есть? Наперекор условиям существования?

Профессор анатомии удивлен. От сего удивленья мнет очередного мальчика сильнее, чем требуется.

– Вас ист дас? – спрашивает сам себя герр профессор, оглядев, а потом для верности и ощупав рану на боку у мальчика.

– Точно так... Васька даст!..

Это малец, тихо, шепотом.

– Иншульдиген?

– Васька тому олуху, тому сынку унтер-офицерскому, что меня поранил, по шеям ух как надает!

Профессор Пекен хмурится.

«Лишние слова есть непорядок. Воспитанник – даже ишчо не воспитанник, а кандидат – с профессором говорить не смеет вовсе».

Герр Пекен колеблется: отвесить подзатыльник? Отчитать? Поговорить ласково?

– Воспа была? – склоняется к ласке профессор.

– Не могу знать. А токмо...

– Умолкни, пень. – Герр Пекен возвращает и себя, и воспитанника на должное место. – Молчи, айне кляйне шайсе.

Герр профессор – неудачник. От неудач в фатерлянде не так давно сбежал в Россию. Поэтому стоит ему хоть слегка расстроиться – и вся жизнь идет прахом, осознается как нечто напрасное, тошное. Вот и сейчас: взгляды мальцов представляются профессору дерзкими, сами они – зряшным семенем, пустым, ни к чему не годным. От таковых представлений – дрожь по телу и кривинка в лице. Гадко, горько!

«Хотя... Жизнь далеко еще не кончена, карьер не завершен. Двигаться мыслью... или как это по-русски?... шевелить мозгами – ишчо способен! Сила в руках имеется. Не высок, а статен. Хоть плешив, а заметен. А что Маришка вчера отказала, так сие есть вздор. Да и поправимо в будущем...»

– Ножницы сюды, – зычным баском подзывает профессор дядьку-смотрителя.

Ножницы поданы, малец-воспитанник веки от страху сожмурил. Кривинка рот профессорский отпустила, снова ему отраднo, весело.

«Отхватить бы у мальчика – ишчо чего!»

Дзень!

Профессор Пекен долг свой знает. Вострые ножницы отхватывают только то, что положено: прядь волос. Волосы, светлые, с каштановым отливом, падают на пол. Дядька-смотритель их тут же подбирает, подает с поклоном профессору. Тот кладет прядь на столешницу, затем идет в угол просторной комнаты. Сняв с огня оловянную плошку, сует в нее кончик обструганной палочки. Палочку проворачивает вокруг своей оси, возвращается к столу, каплет бережно сургучом на казенную бумагу.

Волоски живые, волоски шевелящиеся – вмиг к бумаге и прилипают!

Евстигней сын Ипатов, Воспитательному училищу при Императорской Академии художеств и душой, и цифирью, и частью волосяного покрова — *«сего апреля 14 дня 1767 году»* – навеки придан...

Апрель 1767 года случился в Санкт-Питер-Бурхе тихим, благостным. Западные морские ветра – злобноватые, настырные – города почти не достигали. Но все одно: на губах – солоноватая влага, на щеках – шелушение кожи.

По временам, если вслушаться, город шумел. Чаще – как морская раковина. Иногда – как подслеповатый чухонский бор. Реже – стонал, как растревоженный водою погост. А уж стуки-то, стуки! Дробно и звонко отзывался под копытами булыжник, глуховато бубнил известняк тротуаров, под железными ободами колес на разные голоса пела брусчатка.

Домы тоже звучали по-всякому. Иные подывали печными трубами. Иные визжали дворней. А дворцы... Те до полудня вообще молчали. Ясное дело: со сна. Вечерами же взмывали снопы едва слышимой таинственной музыки.

А вот с Царицына луга, из Летнего сада, музыка доносилась грубая, громкая. Попетляв меж деревьями, покувыркавшись близ набережных и там никому особо не пригoдившись, музыка эта грубоватая возвращалась на проспекты, просилась в каменные дома, под высокую руку иностранцев, вельмож. Но впускали туда грубую и громкую – нечасто...

Дом-дворец, с только что надстроенным третьим этажом, в коем расположилось Воспитательное училище при Академии художеств, днем чаще молчал. А вот перед ночью – так по временам чудилось шмыгающим мимо него людишкам – тяжело вздыхал. Даже и ухал, как тот ушастый пугач!

Про дом говорили разное. Говорили: не для счастья сей дом-дворец выстроен. Еще добавляли шепотом: быть в том доме беде!

Правда, когда именно ждать беды, того не сказывали. Только слепнувший старик-сторож из муромских лесовиков, сажившийся по вечерам на приступку, близ портика с шестью колоннами, иногда бормотал странное.

Бормотал: чрез многие годы – но никак не ранее, чем чрез сто пятьдесят годков – стать сему дому знаменитым. Причем знаменитым на всю империю! Тут слепнувший сторож огла-

живал себя по бороде, добавлял, размякнув: а знаменитым дому стать чрез некого сибирского Гришку, срамца, наглеца, провидца.

– Сей Гришка – срамец, наглец и женскими грудями игрец – всем покажет: и што у ево в штанах, и што у ево в голове...

Впрочем, сторожа-слепца мало кто слушал: век Просвещения струил себя сладко над Малой Невкой! Воспитательные и иные прожекты ручьями журчали в головах у высоких людей. Куда там слепцов слушать!..

В этот ухающий, а чаще молчащий дом Евсигней сын Ипатов – под присмотр наставников, на казенные харчи – ровно на седьмой день после осмотра и подписания бумаг и был определен и доставлен.

Попервоначалу страшно ему было и боязно, но и веселье жутковатое к горлу подкатывало. Кругом белокаменные фигуры, чистота, однако ж в подвалах – плеск воды, а в отдалении – пугающий гул пустых коридоров.

Как к такому привыкнуть?..

Через неделю, ближе к исходу все такого же апрельского дня, Иван Федотов и женка его Аксинья брели сквозь сырость и прель в полковую слободу, в крохотный чулан, в крохотную квартиру для семейных солдат.

Аксинья Михайлова дочь дорогой вздыхала. Рюмзать на улице, однако, не решалась. Да и чего рюмзать? Евсигнеюшку пристроили, сама – молода ишшо, муж небось не за тридевять земель, а здесь, под боком.

Рюмзать, однако, хотелось.

– Иванушко...

Иван сердито крикнул. Разговоры на улицах ни начальством, ни им самим не дозволялись. Женка обязана следовать позади, отставая ровно на четыре шага.

«Поучить? Дать меж рог?»

Пожалел, не дал.

– Иванушко... Евсигнея, того... Давай возвернем его обратно. Помощничек тебе будет...

– Пс-ст... Сдурела баба. В документ Евсигней твой вписан! И по документу он, слышь ты, теперь существует – токмо как воспитанник. Сего изменить невозможно. Поклоницца б ишшо его благородию капитану... За труды.

– Поклонимся, поклонимся...

Аксинья Михайлова дочь от счастья, что не убил ее до смерти страх за дитя, зажмурилась: «Уж и Евсигнеюшке, как отцу его покойному, Ипату Фомичу, доля определена. Ипат Фомич шибко скоро помер. Каково-то Евсигнеюшке придется?»

Солдат Федотов, глядя на женку, доставшуюся ему после покойного канонера Тобольского полка, улыбнулся в усы. «Складная, и лицом круглая. Даже и слеза личит ей. Эх! Кабы не бесконечная служба солдатская! Закатиться бы с женкой на украины, от столиц подале. На украинках, сказывают, воля! А с проворной женкой – так еще и доля».

Тут же он вспомнил и документ, неделю назад в стенах Академии им подписанный. Память солдат Федотов имел отменную, читанное однажды помнил всегда.

Документ составлял некий ярыжка, славное заведение токмо позорящий: с козявой в носу, с губою пьяной и ногою кривенькой. Зато руку ярыжка имел ловкую! Руку, видать, и ценили.

Ярыжка от лица неписемной Аксиньи и под диктовку секретаря Академии тогда нацарапал:

«Я нижеподписавшаяся... добровольно императорской Академии художеств в Воспитательное училище отдаю малчика своего родного Евсигнея Ипатьева, прижитого с первым мужем моим Тобольского

пехотного полку полковой артиллерии канонером Ипатом Фоминым сыном Фоминым... Во уверение чего и подписуюсь.

К сей подписке вместо жены своей Аксинии Михайловой дочери по ее прошению муж ее лейб гвардии Измайловского полку солдат Иван Петров сын Федотов руку приложил.

Апреля 14 дня 1767 году».

Глава вторая

Иван Иванович Бецкой, президент

«Наказ» императрицы Екатерины от предыдущего, 1766 году много пострадал от урезки и критик. Однако ж и в таком виде был хорош, нов. В особенности тем, что трактовал не только о дворянах и духовенстве – трактовал *«о состоянии всех в государстве живущих»*. То бишь о свободах всех граждан.

К чему был сей «Наказ» дан? А к тому, чтобы ко-ди-фи-ци-ро-вать законы! Расположить их по полочкам. Еще затем, чтобы людишки подлые без дела меж двор не шлялись.

«Хотим предотвратить побег и злодеяния? Надобно сделать так, чтобы меж людьми распространилось просвещение. И здесь самый верный способ – усовершенствовать воспитание. Раньше как? Люди в империи рождались в унынии, умирали в бедности. Теперь – не то!»

Иван Иванович Бецкой – русский европеец, любитель искусств и протчих художеств – отчего-то вздохнул. Хотя, видит Бог, должен бы только радоваться. Тут же, правда, свой вздох он и уразумел: хоть и оценен, хоть на виду – а словно недодали чего-то! То, о чем хотелось кричать, – приходилось прятать. То, о чем смолчал бы, – недруги напоказ выставляют!

А тут еще – поперек мыслей о «Наказе» и прочих делах важных – стало слишком уж часто припоминаться давнее: теснящее грудь, нестерпимое.

Припомнилось, как всего через несколько дней после восхождения государыни на престол вбежал он к ней, исполненный кипенья чувств. Вбежав, пал на одно колено и со слезой – но неотступно, но требовательно, – молил ответить: кому именно обязана она российским престолом?

– Богу и избранию моих подданных, – отвечала государыня, вскинув удивленно левую бровку.

– Так я не стою сего отличительного знака! – крикнул тогда Иван Иванович и, зажмурившись, потянул через голову орденскую ленту.

– Что сие означает, господин Бецкой?

Гнев императрицы то ли искренен, то ли притворен, то ль ему предназначен, то ли вставшей чуть поодаль княгине Дашковой. Поди разбери сразу.

– А означает сие, что я буду несчастнейшим из смертных, ежели ваше императорское величество – сей же час и навечно – не признает меня единственным и подлинным виновником вашего воцарения!

– Единственным? Как вас понимать? Объяснитесь, сударь!

– Конечно, единственным. Имею смелость уведомить – без меня и вас ваше величество не было б! Не я ли тайно подговаривал в вашу пользу гвардейцев? Не я ли усердствовал, пуская слухи в народ? Не я ль – может статься, губя будущую судьбу свою – готов был спасти вас от возможной расправы? Не я ль сражался за ваше императорское величество, – тут не сдержался, сболтнул лишнее, – как за родимую дочь?

Многое из перечисленного и вправду имело место быть.

И деньги в народ швырялись горстями, и полки молодцов-гвардейцев гарцевали под окнами... И все ж любезный сердцу Иван Иванович к самому восхождению на престол отношение имел незначительное. Так стоило ли об этом незначительном напоминать, да еще таким странным образом? А что до намеков про дочь... Сам-то Иван Иванович – неродовитый, полузаконный... Стало быть – и дочь его полузаконна. Сия полузаконность не нужна, опасна. Ее отец – навсегда и навечно – герцог Ангальт-Цербстский!

Тут императрица нахмурилась нешуточно.

– Признаю, сколь многим вам обязана... – Постепенно лицо государыни стало высветляться улыбкой. – И ежели я впрямь обязана вам короной... Ежели обязана... То кому как не вам, сударь, поручить приуготовление и самой короны, и всего, во что облачусь я во время коронации? Отдаю в ваше распоряжение всех ювелиров Империи!

Уходя, он слышал смешок – впрочем, мягкий, пристойный – самой Катеринхен и резковато-звонкий хохот княгини Дашковой. Всё? Затея кончена фарсом? Не торопитесь, милостивые государи! Ювелиры империи в те дни поработали славно. И не только на государыню императрицу, но и на самого Иван Иваныча. А стало быть, и на любезное отечество.

Да и про «родимую дочь» было кем надо услышано, по цепочке передано.

Слова про дочь породили сплетню не сплетню, а стойкий, хоть и слабенький – не знали, как отнесется к сему государыня, – слухок: истинный отец императрицы Иван Бецкой!

Государыня отношения своего к слуху не проявила. А посему большинство придворных с радостью утвердилось в полужнании, успокоилось в полуулыбчивом неведении.

«Ах, Катеринхен... Ах, умница!.. Даже неясный слух на пользу себе обратила».

Как бы там ни было, а на чужой роток не накинешь платок, и молву в рукав не спрячешь. Так, может, пускай говорят? В конце концов, не в разговорах суть. Суть – в делах.

Дела же Иван Иваныча были таковы: когда, после коронации, ему назначили следовать за Государыней в третьей по счету карете – многие зашушукались. Когда стал президентом Академии – тут уж закричали на всех углах. Ну а когда стал личным секретарем Императрицы, стал читать ей вслух книги – тут-то говоруны язычок на всяк про всяк и прикусили, тут и замерли...

Иван Иванович – крутолобый, ясноглазый, с некоей немецкой неопределенностью и в то же время с датско-шведской требовательностью во взгляде, но при том же и с русской крепкой и гордой посадкой головы – любовно оглядел собственные руки и перстни на пальцах: три на правой, два на левой руке.

Память. Andenken...

Память о коронации Катеринхен – вот она, сверкает на пальцах. Память о давнем падении с лошади – ноет в левом боку. Станешь про то падение забывать – так можно шрам потрогать.

А вот память о поездке в захолустный Цербст и о знакомстве с Ангальт-Цербстской принцессой Иоанной-Елизаветой – примерно за год до рождения Катеринхен – сия память спрятана глубоко в сердце.

Тут Иван Ивановичу припомнился пятибашенный герб города Цербста. Медведь, взбирающийся по зубчатой красной стене, показался ему мил. Хоть и не схож ничуть с мишкой русским.

Память разбудила воображение. В воображении же своем он все ясней и определенной становился отцом восхитительной Катеринхен.

Однако ж... Память сию ощупать взглядом никому не дано. Разве потомкам.

Для потомков Иван Иванович готов был на многое. Любовь к детям, к наследникам! Только ради нее одной и стоит жить на сырой и туманной – часто сообщающей телу ревматическую дрожь, а душе неизбывную слякоть – земле.

Для потомков – и Академия. Только вот кто еще из нея вылупится? Кого Училище при Академии взрастит? Сие – неведомо. Зато ведомо другое: кой-какие прибитки и награды от президентства уже и сейчас имеются. И награды сии – в самих воспитанниках. (И, конечно, в воспитанниках не менее Академии любезного сердцу Института благородных девиц!) Да-с. Награда не в деньгах, не в чинах и орденских лентах, как полагают завистники.

«Ну да ведь всякого – на чужие пожитки берут завидки!»

Иван Иванович слегка раздосадовался.

Подойдя к зеркалу, оглядел убранство комнаты и самого себя построже.

Бровки жидковаты, и хотя морщин под глазами пока мало, припухлостей и примятостей – предостаточно. Мочки ушей, те и вовсе отсутствуют. Что говорит о недостаточной склонности к финансовым накоплениям и о немалой склонности к финансовым тратам. Зато уж ложбинка под носом обозначена ясно: темна, глубока! Что указывает на сильную способность к деторождению и немалую тягу к нему.

Впрочем – вид человека ничто. Внутренняя его механика – все.

«Да ведь внутрь никто заглянуть не желает! Никто не хочет знать, сколько личных средств истрачено им на благоустройство Академии! И эти перстни... – он снова с любовью оглядел собственные руки, – они тоже будут вложены в дело. Академия еще только организована, требует строгого попечения, неусыпного присмотра... А уж смеют, – тут мысли Бецкого слегка отпрыгнули в сторону, – отвлекать от дел! Просьбами терзают, указаниями».

Кривя щечку на левую сторону и едва заметно шмыгая вполне русским, хоть и слегка (по-королевски!) свернутым набок носом, он взял со стола и стал подносить к глазам – ближе, ближе – доставленное вчера письмо.

Письмо было от парвеню, от Потемкина.

«В любовники, скотоложник, пробирается. В тайные мужья, обходя Орловых, метит! Как пишет, выскочка, каков слог!»

*«Милостивый Государь мой,
Иван Иванович!*

Как то и было указано Государыней Императрицей и озаботясь сего дела выполнением...

Хочу попенять вам дружески...

Так что – не оставьте... (В задницу себе, милостив-сдарь, вставьте!)

Всемерно... (Без тебя не знали, наверно.)

Больше илутче...» (Пусть тебя, дурака, вспучит...)

От передразнивания стало весело, но и гадко.

Впрочем... Отправитель письма вполне может и переписать его. По просьбе все той же Катеринхен. Пускай парвеню слог свой пообточит!

Иван Иванович с силой втянул в себя кабинетного, лишь слегка освежаемого близкой водой воздуха, и воздуху этого не почувствовал. На губах одна сухость забот, на нёбе – горьковатая пленка времени (шестьдесят уже), вокруг только книжная, так притягивающая государыню императрицу, пыль...

Да, мир грязноват, скуп! Но именно в такой мир – как в нечищеную лохань для умывания – помещена его собственная, драгоценно исполненная, сиятельно удавшаяся жизнь.

Иван Иванович позвонил, велел закладывать карету.

Надобно ехать в Академию: вразумлять, наставлять, учительствовать! Надо подыскивать себе будущих помощников и компаньонов. Надо, надо, надо...

Глава третья

Музыка петербургская

Преображенцы – Захары. Семеновцы – красношапошные. Измайловцы – все наперечет белокуры. И буклей не носят.

Так повелось в полках гвардейских издавна, еще со времен Елизавет Петровны. И даже раньше: от времени Анны Иоановны. Такова была ненарушаемая традиция: не то что офицеров – солдат одного к одному подбирали!

Проживание солдатам всех трех полков – Измайловскому полку в последнюю очередь – было сперва определено на обывательских квартерах. Позднее – в полковых слободах. Лямку тянули тяжкую, но шибко не горевали. Сыновья солдатские подрастали, становились опять же солдатами. Дочери – по выходе замуж – солдатками. Лямка солдатская перекладывалась с одного плеча на другое, широкая полоса ее оставляла на плече ссадины, раны.

Но ведь и рана – какой-никакой, а след!

Когда кормильцы умирали, их вдовы – ежели время не сильно подпортило – искали и находили себе кормильцев новых.

Так все и текло, так и все и кружилось: без конца и без края, спеша к завершению, возвращаясь к началу...

Выйти из круга было невозможно. Кружились десятилетиями.

Евсигней зевнул и враз съезжился: зевать, не окрестив рта, даже если никто тебя не видит, не дозволялось: бес влетит.

Глянул в крохотное оконце третьего этажа. Все, что вспоминал, вмиг рассеялось. За окном темень. Но уж теперь ему ведомо, что там, в темени шевелится!

Шевелились ветви деревьев. Раньше, когда жил в полковой слободе, деревья рядом, почитай, не было вовсе.

«Одне дома и заборы. После их – снова дома, опять заборы. А тут – лес деревьев под боком! И меж домами простор немалый».

Домы в граде Петровом были разные. Были громадные и превосходные. Были сильно набок кренимые, были недовершенные.

Евсигней на дома всегда глядел с любопытством. Еще – с затаенной печалью: кто в них, в тех домах, живет? Горе ли мыкает? А то, может, ест от пуза?

Оглядев дома – всегда обводил их пальцем. И не токмо по контуру. А словно бы и нутро тех домов легонько на ладошке взвешивал.

Сию тягу мальчика к домам, любопытство к их устройству приметил вотчим. Минувшей зимой притащил под полою выбеленный ветром шмат кожи. Сохлую свиную кожу с силой разровнял, через день выпросил в полковой канцелярии у знакомого писарчука грифель, оный грифель заострил ловко:

– Малой чертежно...

Есек начертил квадрат, а чуть помешкав, сотворил из квадрата объемное тело.

– Сие есть куб... – прокашлялся табаком вотчим. – Откуда знаешь?

Есек втянул голову в плечи.

– Ниоткуда... Само в голову влетело...

Он навел куб пожирней, навесил поверх него крышу.

Прозрачный, видимый наскрозь дом выставился вдруг над свиною кожей!

Вотчим крикнул. «Через чур складно у мальчика получилось».

– Видал у полковых? – спросил он с нажимом, строже.

Евсигней смутился.

– Глазом меряю, – прошептал он, испугавшись грозного голоса, а еще сильнее – летящей своей руки. Чуть переждав, добавил слышанное от полковых слово: – Со-раз-ме-ря-ю...

Первый же чертежный набросок судьбу Евсигнеюшки и решил.

Не разлетись рука – служить бы и ему канонером, или простым солдатом, или в крайнем разе – унтером!

Ближе к ночи вотчим, утишив голос, говорил:

– Слыхал я, мальцов эдаких в ученье ныне берут. Да, не одних родовитых! Детей нижних чинов, да кухаркиных, да кучерских, да всяких иных берут. Учение таковое – Академией зовется. Отдам, ей-богу отдам мальчика в Академию! – От Аксиньиных ласк солдат Иван совсем разомлел. – Там хоть побьют, а с толком: выучат! А то – порю его, порю, а выучить никак не могу.

– Ты и не порежь его совсем...

– Буду. Надо. Не выпорежь – не выучишь, – хмурил брови солдат, чтобы скрыть симпатию к чужому семени. – Попадет в хорошие руки, глядишь, боком каким к господам пристроится.

Сквозь полуопущенные ресницы Евсигней видел вотчима, видел мать.

Видел: глаза у матери громадней, чем у полковой приبلудной кошки. Вотчим кулаком машет, жажда его мучит, сердце огнем пылает. Счас снова к матери подлезать станет. А мать ему вторит. Говорит – словно поет... Ох, немоготу! Хоть пропадай без вести!

Но то все было раньше – в полковой слободе. Здесь, в Училище, ни матери, ни вотчиму быть невозможно.

Однако ж и ему самому тут пребывать-находиться невозможно.

И хочется бежать, а некуда. Разве – в намалеванные и развешенные по стенам училища дворцы или в промежутки меж ними? Или – того лучше – упорхнув пташкой, жить себе в саду. Там и прокорм, там и счастье. А уж поймав счастье, влететь хоть на часок – и опять же, птицей – в барские хоромы!..

А перед тем как попасть в Воспитательное училище, попал Евсигнеюшка в сад.

Там, в Летнем саду, сотворилось чудо великое! Только что ушла зима. Стали подсыхать питерские снежные лужи, стали затягиваться коркой весенние грязи. И тут откуда ни возмись – чудо!..

Взлетали, шипя, потешные огни, ломался на помосте высоком паяц, висели, словно в воздухе – земли не касаясь, – красные и синие шатры, постанывали от ветра деревянные, наскоро строенные крепости.

Была и музыка. Да какая! Нигде в свете не слыханная, роговая!

Тридцать и еще три дударя были выстроены в два ряда, в руках держали здоровенные, книзу расширяемые дудки, сиречь рога. Дудели строго, каждый в свой черед. Для чего глядели в кетради со значками: в ноты.

Евсигней от той музыки сперва пронял страх. Шутка ли? Так складно дудеть! Никак невозможно тому выучиться. Да еще как громко дудят-то!

Вотчим, гордясь, пояснил:

– Когда на пять, а когда и на семь верст музыка сия роговая слышна.

Сказал еще:

– Сего дня – за ради воскресения музыка. – И прибавил, чтоб Евсигней сказанное запомнил и уж потом в этом сказанном не сомневался: – Такой музыке, слышь, даже и наиславнейшие вельможи рады-радешеньки. Да не у всех таковая есть.

Попривыкнув, Евсигней ступил на полшага вперед, стал повертываться: то одно ухо подставит музыке, то другое.

Никакого вранья, никакого сбою! И песня, что играют, до чего ж знакома! Такую же мать мурлыкала. Знакома – да не та. По-другому песня роговая вьется!

– Слышь, Есёк... – довольный виденным и слышанным, вотчим – толк Евсигнеюшку в бок. – Слышь? Павузу держут!

– Па... павузу? – захлебнулся от счастья малец.

– Ну! Промежуток так зовется. И стройно, как по артикулу. Чреда! Мера! Плутонгами! Пли! Пли! Ух-х!

И собственными словами, и музыкой вотчим изумлен до восторга. А тут еще краснощекий крепенький роговщик, стоявший с самого краю, перестал отстукивать ногой, задул низко, задул долговременно, а потом враз дутье оборвал. Получилось: будто ветер над Финским, еще покрытым льдами, заливом – пролетел, стих...

Тут, вопрекор песне первой, хоть и цепляясь за нее, а потом от нее ж и отталкиваясь, побежала песня новая. Может статься, никогда и никем не слыханная. Вверх побежала, над деревьями, над водой. Это ль не чудо? Жизнь тяжкая под такую музыку забывается. И наплывает откуда ни возмись жизнь иная: невиданная, неслыханная.

Слушающим сладко, приятно. А вот у дудящих от напруги едва зенки не выскакивают. Да только роговщики знают, за какие коврижки дудят. За красоту! Сокола на егерских шапочках блещут, пуговицы на мундирах горят зазывно, а щеки... щеки все ж таки не лопаются!

Есёк закрыл глаза. Музыка, однако, не кончилась, продолжала плыть дальше.

«Стало быть – не привиделось... Да с закрытыми глазами – оно и лутче! Картины малеванные на музыку налегают, за краешки ее цепляются. Жаль, быстро уходят».

Чуть опомнившись, стал Евсигней не только слушать – стал во все гляделки глядеть.

– Чиво машет? Чиво? – пискнул изумленно, когда музыка на миг утихла.

– «Чиво»... Эх ты, пиявица малая. Ка-пель-мей-стер, стало быть! Меру держит. – Довольный любопытничеством пасынка, вотчим поочередно трогает кончики усов. – Счас, может статься, нашу, солдатскую заиграют: маршу. Тогда держись!

– Маршу? Ма... Што за «марша» такая?

Есёк ухватил вотчима за ногу, опять сожмурил веки.

Вместо «марши», однако, заструилась летней прозрачной водой другая, ни с какого боку не ухватываемая, музыка.

Музыка сия тоже напоминала песню. Но уж не материнскую. Просто петую кем-то в полковой слободе. Правда обтыкана была та песня всякими добавочными звуками. Узнать песню – узнаешь, а повторить невозможно.

Часто моргая, Есёк завертел головой. А не помогло: две слезы и за ними еще, еще – заскользили по щекам. (Щеки были бледноватые, но не впалые.)

Евсигней всхлипывал и в такт музыке вздыхал.

Затем, повеселев, стал сам, подобно капельмейстеру, помахивать рукой. Но дрожать не перестал.

– Ну будя, будя...

Вотчим подхватил Еська на руки, пощекотал усом, потащил в сторону: под дерево, под первые бруньки и едва заметные стрелки листьев.

Остановились только на берегу у обводного канала. Берега канала были выложены известковым камнем. Камень тот доставляли с Мурмана, с белых щербатых гор. Вотчим стал рассказывать про камень, но вдруг увидел: пасынок едва на ногах стоит, того и гляди оземь хлопнется!

– Давай покуда на траве прошлогодней подрыхнем. А уж после назад возвратимся. Обедом дармовым в саду кормить станут!..

Музыка Петра Великого – кашель из горла трубы. Из горла медного, луженого.

Горло то (из меди зеленой) покрывали тончайшей поливой: расплавленным оловом. Олово застывало, искрилось блеском. Того блеску не касаясь – словно сам по себе, – выпрыгивал из горла трубы звук. Выпрыгивал комом, гулей.

А уж затем, скручиваясь и распрямляясь ратной перебранкой, продолжаясь читанным под барабан полковым приказом, – завершалась петровская музыка треском ломаемых человеческих носов и весел, воем пораненных гребцов.

Музыка Анны Иоанновны – темная, гробовая.

То окрик немца-часового в ней слышался, то наполнялась она неясными кладбищенскими бормотаньями, то бабым визгом исходила.

Музыка Елисавет Петровны – пьяненькая, веселая. Как те лягушоночки на пруду – сладко сцепив лапки – растанцовалась, расквакалась. А еще – как острый звон, музыка елисаветинская в стороны разлеталась. Да только звон был уже не стальной, не петровский: тощенький был, стеклянный, надбитый!

Ну а музыка государыни Екатерины – великолепно-бестолковая. И словно бы чуть глуховатая. Но, правда, и резво-скачущая: прыг-скок со струны на струну. Прыг-скок из постели в постель!

Гул поздних ужинов, ухарство фаворитов, перестук несущихся во всю прыть экипажей, щелканье кнутов, аплодировка и свист не вовремя, разговор поперек такту – вот что такое была музыка Екатерины!

Музыка вообще была к месту в Российской Империи: льнула к ранту, соответствовала мундиру и к бальным нарядам прилипала тесно.

И в годы екатерининские, и ранее: в громе побед и в тишине обдумываний, в танцевальной припрыжке и в цепком плеске галер – еле чуемо и почти всегда невозвратно – улетала-сквозила она.

Но попадала и под подозрения.

Подозревали в музыке тайный умысел, пытались отыскать хитрый – то ли фармазонский, то ли слишком уж вольный (всяк дурак как хочет, так сию музыку и понимает) смысл.

Но хоть и была музыка высшим слоем Империи вполне презирана, а и весьма необходимой была...

Про значение и смысл музыки догадывались немногие.

Иван Иванович Бецкой догадывался. Правда, мыслями своими с профессорами Академии и Воспитательного училища делиться не спешил.

Ну а воспитанникам Училища при Академии, тем наставники про музыку и вовсе ничего не изъясняли. Изъясняли про другое. Иногда – в оговорках, в намеках – кой-что и про музыку пробивалось. Однако неявно, редко...

С некоторых пор все слова про музыку Есёк собирал по крохам, повторял про себя с любовью, на певческий лад. По временам – пел в открытую. Удавалось не часто: смущали насмешки товарищей, недовольство дядек-смотрителей.

В классах будущее сего воспитанника мыслилось наставниками как архитектурное. Заметили полетность руки, учили глазомер, заставили, еще в начальных классах, особых художеств не предполагавших, малевать побольше...

Малевать – получалось.

А что малевальную способность обставляла чредой и линеила мерой музыка – того в классах не заметили.

Начинали наставники бодро, с азов.

– *Глагол... добро... есть. Живет... како... люди. Мыслете... слово... твердо.*

Особенно веселило это самое — «мыслете слово твердо». Потому как был в тех словах, составленных из начальных букв, не один только смысл! Был таимый напев.

К «слову» – привешен был колоколец. Рядом с «твердо» – ухал полковой тулумбас. «Мыслете» – летало по Санкт-Питер-Бурху прожорливым ветром, повертывая людские лег-коверные головы флюгерами всегда в одну и ту же сторону, а затем сии головы обламывая с наскоку!

Слова, составленные из начальных букв, сбившись в стайки, носились в Училище.

Но только днем.

Ночью же дом Воспитательного при Академии художеств училища становился гробо-подобен, каменел во гневе, звучал бессловесною скорбной музыкой.

Ночного дома новый воспитанник пугался насмерть. Однако пугливость свою наружу не выставлял. Да и кому об ней скажешь?

Наставники строги, громогласны. Говорят все больше не по-русски, а чтоб лучше их понимали – дерут за уши, руганью хлещут.

– *Ля петит кошон... Ассейву, мизерабль...*

Ну и в ответ им конечно:

– *Же пердю?..*

– *Как-с? У-у, гранд кошон!* – И уж дальше по-русски: – Стоять столбом!

Затрещина что от соотечественников, что от мусью и мадам – пудовая. Перед глазами, конечно, искорки россыпью. За искорками – сутемь.

– *Коман сава?*

И ведь не поймешь, кого спрашивают. Его самого? Соседа по лавке?

Подсказки летят, как те летние осы, со всех сторон, кучей, разом:

– *Комси комсой!*

– *Яко сиски... Яко сиски...*

– *Комси комсаем, тебя дурака спасаем...*

Да только одними подсказками сыт не будешь. Хочется слова французские уразуметь. А неможно! Потому как слова те ни к музыке, ни к рисунку никак не приладишь, никакого облика или хотя б начертанья в них не заметно.

А значит – молчок.

За молчание – указкой по пальцам.

Эх! В полковую слободу бы сейчас. К матери, к вотчиму. Свиной кожи нюхнуть, а ежели кишки запоют, грызнуть сухую корку. Тут ведь, в Училище, в неурочный час еды не дождешься. Учись, мучайся, покуда не околеешь!

Только и отдохновения, что в рисовальных классах.

По рукам наставник не бьет (пальцы в рисовании – первое дело). Да и не говорит ничего вовсе. Ясное дело: не француз, немец, немой, стало быть. Зато, как надобно малевать, немец ловко показывает. Круг, кружок, завиток. Хвост, четыре палки да шерстки клок – и побежала собачонка по Питеру! Хоть кривонога, да не голодна: круглая, сытая.

Друг Стягин – тот малевать не умеет. И учиться не хочет. Ему б только насвистывать. Он и Евсигнеюшку свистать обучил.

– Не деньгу учись просвистывать, – наставлял старший двумя годами Стягин. – Фасону учись задавать.

Что такое «задавать фасону» – Еську неведомо.

Неясного и в учении, и после него – вообще немало. Многое и вовсе до ума не доходит. Многое затверждается без должного разумения: шевелением нескончаемо повторяющих одно и то же губ.

Однако и на месте ученье не стоит: сперва тяжело-медленно, потом – шустрей, веселей оно идет. Идет, погромыхая льдинами, а то и неслышно: как летняя Нева.

Случались в ученье и казусы.

Все никак не мог Есёк выучиться аккуратному письму. Буквы вихлялись, насакивали одна на другую, чернила кляксали крупно, дерзко.

Уроки чистописания – сплошная мука.

Не раз и не два, сидя над новенькой кляксой, Есёк раскидывал умом: как сие пятно от наставника скрыть? Рукавом прикрыть – заметит. Ладонью? Ладоньку отвести заставит. Самому разве глаза закрыть? Тогда и пятна чернильные сгинут.

Закрыв, и представилось: шагает он, Евстигней, по чистому, не измеряемому ни вдоль, ни поперек листу. И с того листа всякий письменный сор и, главное, мелкие чернильные озерца сам же веничком смахивает. Сор чернильный летит в стороны, исчезает, а сам Есёк ни следочка обувкой своей на листе не оставляет!

Тут, ясное дело, затрещина. И вслед за ней перед глазами все тот же плоский лист. Только уж не громадный, обычный. Наставник каплет на тот лист чернилами, воспитанники смеются, тошнота от чернил пролитых аж к самому горлу подступает.

А наставник Бизяев – хват за вихор!

– Пиши чисто! Мысли гладко! А штоб запомнил – лижи чернила языком, неуч!

Стал лизать. Чернила пришлись по вкусу.

– Будешь цельный год у меня с языком синим ходить! Еще и уши, и физию тебе вымажу. Не отмоешь!

А того и не знает Бизяев: с того самого дня и письмо, и чернила для Еська всё приятней, всё слаще делаются. Выучится он писать чисто, еще как выучится!..

Тремя годами ранее – в 1764-м – императрица Екатерина Академию «трех знатнейших художеств» переустроила. С того времени порядок обучения в названном учебном заведении был таков.

Перво-наперво был объявлен пятнадцатилетний курс. Курс, в свой черед, разбили на пять «возрастов». В каждом из этих «возрастов» воспитанники обучались по три года. В первых трех «возрастах» – детском, отроческом и юношеском – воспитанники училища обязаны были пройти науки для образования общего. В последние три года – из девяти начальных – определено им было заниматься основами своего будущего ремесла. Но при том – и уж это непременно – заниматься архитектурой.

Архитектура в Академии «трех знатнейших художеств» главной наукой в те годы и была. А уж рядом с ней – не дойдя до архитектуры порядочно – вытягивались в струнку живопись, скульптура и прочие второстепенные искусства.

Строить намеревались много. Лепить – тож. Ну а где дворцы с лепными фигурами, там отчего ж и картину в позлащенной раме не вывесить?..

После девятилетнего «усвоения основ» воспитанники Училища попадали прямиком в Академию. И уж там, в оставшиеся шесть лет, полностью отдавали себя выбранному делу: готовились стать мастерами, ваятелями, зодчими, да такими, каковым не стыдно поручить и постройку царских палат! Также – театров, верфей, цейхгаузов, пристаней и прочего.

Матушка Екатерина знала, что и как переустраивать! Много учла, многое предусмотрела. Вот только про музыку отчего-то в трудах своих позабыла.

Разумеется, совсем забыть о музыке было невозможно: балы, спектакли, виктории, встречи триумфаторов... Как позабудешь! Однако при всем при том – и уж это несомненно – государыня императрица в начале царствования музыку пленительным локотком своим из ряда необходимых искусств изящно вытолкнула.

Этого (едва ли предумышленного) движенья оказалось достаточно!

Музыка стала звучать в империи фоном. Двигаясь одной лишь собственной силой, она тихо волочилась поодаль от главных дорог, постанывала у едва приотворенных дверей.

От небрежительного обращения повсякчасно ухудшаясь, становилась беспомощной, тугоухой...

Глава четвертая

Днем, ночью, вечером, утром

Три года, а за ними и годок четвертый упрыгали незаметно.

Не в пример другим воспитанникам, Есёк не поправлялся – худел. Только лицо округлилось, да пальцы окрепли, да глаза с косинкою стали лучистей.

Все четыре года мечталось: упитаться, разрастись вширь, «аки древо». Не выходило. Может, из-за училищных строгостей, может, слишком прилежно учился, много, не по годам, размышлял.

Ученью, однако, требовались не одно только усердие. Ученью требовался распорядок: строгий, непреложный.

Исходя из распорядка, день воспитанника «второго возраста» складывался так.

Утром, в шесть, побудка и общая молитва. Ровно через четверть часа – шагом марш в столовую залу!

А там... Там извечная манная или – если посчастливится – ячневая каша. Однако ячмень – слабо насыщающий, но все ж таки доверху набивающий брюхо – подавали редко. Изо дня в день, из года в год манка: иногда – непроваренными комками, иногда – мелкобугристым желтоватым снежком, с небольшой лункой посередке. В лунке, вместо масла, всегда блестела вода...

Свой вкус манная каша сообщала и всему сущему. Пар от нее навевал мысли постно-печальные. Вроде таких: ни одному воспитаннику из первых «трех возрастов» не выбраться. До ваяния, зодчества, а тем паче до музыки, плещущей над Малою Невкой, не добрести!

После «фрюштика» – так немец-повар называл завтрак – немедленно в классы. Там, за столами с перегородочками шесть часов кряду зубрежка правил, чтение, счет, письмо. Но уж зато после зубрежки – обеденный час!

Обеда начинали ждать сразу после завтрака: шти иногда бывали с приварком! В предощущении еды мысли дрожали, прыгали, устремлялись поперед воспитанников в обеденную залу. Расположение духа от тех прыжков улучшалось.

Первым вбегал, пританцовывая, в залу темнолицый, что твой арап, длинношей и кадыкастый Стягин. На бегу, безбожно коверкая мелодию, напевал он из новомодной комической оперы:

Нету с брюхом сладу
Ем я до упаду!

Евсигнеюшка за резвым Стягиным не поспевал. Ему доставались шти донные: с мелкими косточками и осевшими вниз гниловатыми овощами, без жирка, без приварку.

Но штей никаких и не требовалось! Есёк задумчиво ломал хлеб: ему хватало краюхи.

Хлеб приводил на ум полузабытое: слободские пекарни, голых по пояс, усатых, с косичками в сетках солдат. Деревянными совковыми лопатами солдаты вынимали из гудящих от жара печей широченные ковриги...

– А не кроши хлебушку, не кроши! – одна оплеушина, другая, вот-вот и третья последует. – Хлеб крошить – чертей ворошить!

У-хх, зазевался!

Трепкой обед кончался часто. И спать после обеда не дозволялось. В мертвый час предполагалась молитва, за ней – молитвенное размышление.

– То ль дело у езуитов! – нашептывал Евсигнеюшке на ухо еще один приятель, Викторин Темнов. – В Питер-Бурхе-то они пока обучают тайно. Хотя сама матушка государыня – за них. А вот от столицы подале – там уже всю учат!

Маленький, корноухий, бестрепетно и скоро переменивший свое ездовое дерюжное имечко на выкруглаенное чужестранное, Викторин подпрыгивал на месте (видно, хотел подрасти), часто и понапрасну махал руками.

– У езуитов опосля обеда так даже нарочно спать заставляют! А кто не уснет, тому вовсе ничего и не бывает, токмо по головке святые отцы погладят да к небу помыслы свои устремят! Оно и заснешь сразу.

Что спать воспитанникам Академии не позволяли, тому Евсигнеюшка был рад. Одного разу – за ради праздника – заснул он днем.

Сон дневной сразил его, подобно грому!

Приснилось: на берегу, над Невою, горит дерево. Растет то дерево, как и все иные: ровно, крепко. Да только огонь по нему: снизу вверх, выше, выше! Аж до самой верхушки добегают...

Но присмотрелся Есёк – не само дерево горит! Полыхают на нем восковые тонкие свечи. Вдруг перед деревом – мужик. В лаптях, с топором в руке. Как рубанет мужик по дереву – так новая свеча в ветвях и зажжется! Рубанет востреньким дважды – две свечи на месте надрубав вспыхивают.

А тут еще и голос – гнусноватый, задушенный и главное непонятно чей – из-за пригорка вещает:

– Куды мужик топором достигнет, на какой высоте он по дереву рубанет – там высшей точке наводнения и быть. Выступленья воды из берегов есть знак! Сей знак потопа указывает на вечное разрушенье града Петрова! Но и на его вечное восстановление...

А мужик все подпрыгивает, рука его удлиняется, бьет он топором уже по самой по верхушке! Темная вода бурлит, разливается, лижет – где ухватит – мясо человечесь, кости человечесьи мозжит.

И хочет Есёк проснуться, потому как понимает: не ему сей сон предназначен! Мал он для таких снов и духом нетверд.

Хочет, а не может!

С той поры сна дневного, влекущего за собой растраву и жуть да к тому ж еще ночное истомляющее бодрствование, Евсигнеюшка остерегался. Ну их к лешему в болото, дневные сны! Лучше уработаться за день да и спать без задних ног.

Спать укладывали рано, засыпание оберегали строго.

Меж сорока коек, вытянутых в общей спальне в два ряда, похаживал дядька-смотритель. Во все углы заглядывал, выгибал спину, грубо кричал, словно предупреждая: не дай бог кто болтать станет али хуже того – на соседскую койку перебраться вздумает!

Строгости дня и ночи подталкивали узнать: как другими-то день проживается? И не токмо воспитанниками, а и наставниками, купцами, вельможами.

Про то, что день вельможи проживается по-иному, Евсигнеюшка узнал от дружка своего Стягина.

Стягин был не из простых. Отец его до недавних пор служил управляющим у графа 3. По духу времени и складу ума граф – исправно служа казне – не избегал подворовывать. Уворованное вкладывал честно: в свои дома и маетности. Скоро, однако, граф проворовался совсем. Правда, на каторгу сослали не его, сослали того, кто уворованным управлял. То бишь Стягина-старшего.

– Ты не поверишь, друг сердешный, – шептал забравшийся-таки в Евсигнеюшкину койку Стягин-младший. – Ни в жизнь не поверишь! До полудня, стало быть, граф спит. А опосля полудня – тут же наливку ему в постелю. А еще опосля – мамзеля горничная к нему

входит: фу ты ну ты какая! Растелешенная, даже и сказать соромно! А только и вдоволь мам-зелей налюбовавшись – граф вставать не желает. Все ему в постелю подавай! Кофий? Неси в постелю и кофий! Бумаги? Волоки туда и бумаги! И так до самого до обеда. А обед-то не как у нас в Училище, обед у него – в шесть пополудни! Тут уж графу деваться некуда: подымается. И давай сразу ленту орденскую поперек халату напяливать. А халат-то у него зеленый, гро-де-ту-ро-вый! Небось не знаешь, что есть гродетур? Эх, казарма! Материя такая... И вот. Напяливает он ленту поверх гродетурового халату, а потом, конечно, спохватывается, чертыхается, зовет камердинера: халат снять, ленту как положено на мундир навесить. А ежели в ту самую минуту от кого-то важного, даже и от самой матушки государыни за ним присылают – так граф больным сказывается! Ну а уж после всего этого настает вечер. Выезжать пора: на бал! В оперу! Еще на приемы граф горазд был ездить. Бывало, надышится хмельными парами да и заснет в карете, ночью домой возвращаясь. Так, поверишь ли, друг сердешный? На руках его выносили. Ну, тут уж держись, не зевай! Впереди мой папахен бежит, сзади кучер шапку ломит, за кучером раскормленные лакеи – как те жабы: от радости подпрыгивают, оземь задами шлепаются. А позади всех – стража с факелами. Видней, чем днем, становится! Но ежели во время переносу граф просыпался, так рявкал – факелы гасли. За все за это мой папахен графа обожал. В огонь и в воду за него готов был идти. Вот и пошел по этапу... А по мне – все едино: граф ли, подьячий, купец ли! Ты про равенство прав слышал чего-нибудь? Казарма, как есть казарма!

Из слов друга пылкого, друга сердешного вытекало: день вельможи особого распорядка не требовал. А требовал чуткого уловленья дворцовых ветерков и тончайших мыслей: кому, когда, сколько и чем? Людьми ли, золотом ли, землицей ли? Чертежный расчет жизни был прост: каждого, кто слабей, – обокрасть, самому стать всех богаче, к богатству же, по силе-возможности – власти добавить...

Здесь даже неопытный Евсигнеюшка смекал: старший двумя годами Стягин отливает пулю! Проще говоря, брешет как пес.

Но то все касаясь распорядка дня. А был еще распорядок ночи. Неведомо кем установленный, тайный... И ночной тот распорядок – будь ты вельможа, будь самый никудышный воспитанник – отзывался в сердце по-иному. Это Евсигнеюшка понял уже и без стягинских подсказок.

Потому-то дня (кроме сна дневного) не пугался. Знал: что ему выпадет – стерпит. А вот ночи бессонной ждал с трепетом. Ночью все гистории вотчима, все рассказы однокопытников облекались плотью, обретали объем и вес, колыхались фигурно. Не сонная явь по временам накатывала – шут его знает что!

Главным и не единожды повторяемым ночным видением было путешествие креста по водам.

Покосившийся крест надвигался, крупнел. За ним другой, третий, четвертый. Плыли кресты по бурливой Неве, дрожа и покачиваясь. Вдруг второй, третий, четвертый – исчезали. Зато передний крест возносился над водой выше, круче!

Вглядываясь, Евсигнеюшка видел: крест сей удерживается стоймя – полураспавшимся гробом. Гроб плыл близко к поверхности, но все же находился под водой. Чем ближе крест подплывал, тем ясней – до щепки, до зазубринки! – виделось: каплет с концов креста не вода, каплет дымная морозная кровь.

Было и еще одно виденье. Только раз мелькнуло, а запомнилось на всю жизнь.

Явился одного разу Евсигнеюшке Новый Век.

Курносый, как гаубица! С вылупленными глазами! С мордой юродской, перекиривляканной и в прошитом золотыми нитями нерусском мундире.

Короткий Век явился, не длинный!

Явившись – рявкнул:

– Я Короткий Век! А ты мокредь серая. Слушать меня! Молчать, не дышать! Град Петров есть Сизифов труд! И тебе, мокрице, тем Сизифовым трудом в граде Петровом до смерти тружаться...

– Не верю я про град Петров... – шепнул сам себе, а получилось – Короткому Веку Евсигнеюшка.

– Не веришь? Ах, бестолочь! Ничего, подрастешь – поверишь. А только знай: настанет мой черед, настанет и твой. Приду я – уйдешь ты! Слышишь? Пушки палят! Города по равнинам скачут! Море на берег выходит, и птица дерзкая в небе кружит: твоих потрохов ищет! Слышишь? Видишь? Обоняешь? А тогда, при моем всамделишнем приближении, глаза твои станут – стекло, и нюх твой станет – вонь! Слух разорвется на части, а частей-то и не собрать! Даром слух острить будешь! Дар-р-ром!

Тут Евсигнеюшка от страху с койки и сверзился.

Не зашибся, не помер, стал видение про Короткий Век малевать эскизно.

Малевал, малевал, бросил.

Млея от робости, в первый раз за годы учения решился подойти к наставнику, решился спросить у Евстафия Григорьевича Сечкарева:

– Кто есть Сизиф? И в чем труд его состоит?

Сечкарев был прославлен пением. Особенно сладко пел он – так передавали – в некой постанове на древний сюжет, называемой чудно и приманчиво: «Цефала и Прокрис».

– Сизиф есть греческий герой из греческой же старинной сказки. Однако сказка ложь, да в ней намек, молодому дарованью всегда и во всем урок. Трудись, да не перетруждайся. Так-то, друг лубезный! – Стареющий Сечкарев слабо хихикнул, сморщенным кулачком ткнул Евсигнею в плечо.

Не умея разгадать связь Сизифа с Новым Веком, ждал с той поры Евсигнеюшка и бессонных ночей, и Нового Короткого Века с тревожным трепетом. Но и с дерзким нетерпением ждал!..

Ученье – шло себе и шло. Однако мало-помалу делалось слабо ощутимым, мертвым. Нового отмеряли по крохам. Талдычили азы, повторяли пройденное.

Начальные годы можно было бы уподобить солдатам на плацу: прошагали ровно, без зуботычин и фухтелей, без поощрений и мучения с парадными мундирами, – и славно!

Да только воспитанникам, уже кое в чем поднаторевшим, хотелось большего. Жаждали перехода к делу настоящему: жаждали перехода в саму Академию. Еще жаждали перемен жизни и отличий в учебе.

Перемены и отличия явились.

Первая и важная жизненная перемена была такой: пропала ненавистная манная каша. За кашей истаяли в воздухе затрешины и оплеухи. Из сыроватых туманов, из мышиных углов, стало выступать непреложное: ученье – не тьма водяная, не гора ледяная, не волна верченая, сине-черная! Ученье – как ни крути – свет, свет!

Дана была внезапно тому ученью-свету и новая озвучка, а уж из звука выломился новый, отличный от прежнего смысл: Есёк услышал скрипку! Не то чтобы раньше он ее не слышал. Слышал, но издали, неотчетливо. А тут...

Одного вечера заиграли за стеной. В голову мигом вступило: играют на человеческих, сперва вымотанных из его, Евстигнеева, нутра, а затем туго натянутых жилах!

Слышимый звук и название музыкального снаряда разнились.

Еще года два назад, услышав сие название, – застыл в недоумении. Потом обиделся: скрипка? Никакого скрипу сей музыкальный снаряд не издавал. А вот жилы на скрипиче и впрямь были: серые, воловь, туго верченые. Сама ж скрипка – ежели стоймя ее поставить

– походила на карлицу-арапку, замеченную минувшим летом в саду на прогулке. Те же завитки над тонюсенькой шеей, те же выпуклости повыше и пониже, те же проделки: визги и подхихикивания, а после – слезы, а после – плач...

Скрыпица смолкла. Миновали минуты, потом, пожалуй, и получас...

Выглянул – никого. Тихо прокравшись к оставленной в пустой каморке без присмотра скрыпице, Есёк попробовал играть: с ходу, с налету!

Тут дикий скрип по пустым коридорам и разнесся.

Млея от стыда, стал просить вернувшегося и тут же вознамерившегося скрыпицу свою отобрать воспитанника Козлова: научи!

Просил-молил неотступно. Козлов отпихивался ногой. Есёк – чего с ним отродясь не бывало – наседали и наседали.

Сию потешную, но и грустноватую сцену заметил сквозь приоткрытую дверь проходивший мимо наставник юношества и артист оркестра Ключ-Соль, прозванный так за клоунистую набок острозатылочную голову, громадное пузо и соломенные брыкливые ножки. Этот самый Ключ-Соль, то бишь Ключ Скрипичный, и стал вечерами, на свой кошт и без уведомления начальства, учить Еська на скрипке.

Через шесть месяцев Ключ-Соль – наставник и оркестрант – выразился так:

– Кабы ты, Евстигней, двумя-тремя годами ранее стал на скрипке учиться – вышел бы из тебя скрипач первостатейный... А так... Пальцы негибки, кисть руки вихляется слабо. Год тебе сколько?

– Одиннадцатый минул...

– Ну так вот чего я тебе скажу. Для себя играть – будешь. Для публики, тем паче для двора – и не суйся. Проворонил ты время, друг ситный, поздно спохватился. Разве кого из наших из русских скрипалей просить руку тебе поставить? Господина Хандошкина разве... Он, бают, скоро у нас в Академии профессорствовать станет.

«Сам себе руку поставлю. Смогу. Сумею, – решил Есёк. – Опротивело мученье архитектурное. Не по мне оно нынче...»

С той поры и на долгие годы скрипка стала главной мукой, но и тайной усладой: поздно взялся, да ухватил крепко!

Глава пятая Перед Академией

В понедельник – я банюшку топил.
А во вторник – я в ту баньку ходил.
Во среду – в угаре пролежал.
А в четверг – буйну голову чесал.
А в пятницу – добры люди не пряли.
А в субботу – родителей поминали.
Днем воскресным – на свадьбе гуляли...

Так, ища воли в словах, припевали-приговаривали когда-то в полковой слободе и в полку. Приговаривали, маршируя и заряжая, готовясь к войне или к плац-параду. Легче от тех приговорок не становилось, но перед глазами чуть светлело.

Здесь, в Воспитательном училище, глядеть окрест было не так тошно, как в полку. Мир окольный при входе в Училище менялся, становился вроде бы не всамделишным и оттого нестрашным.

Семь лет прошелестели подобно семи дням недели. Схлынули, как весенняя вода в Малую Невку. Перемены за семь лет – немалые. И вокруг Евсигнеюшки, и у него внутри.

Отлетела навсегда чертежная горячка. Напрочь пропала архитектурная охота. Даже петь не так уж сильно хотелось. Верней, хотелось, но по-иному, чем в детстве.

Хотелось петь и сопровождать свое пение игрой на каком-либо инструменте: подобно греческому Орфею, о котором в последнее время нередко – и едва ли не с умыслом тайным – толковали наставники.

Скрыпка для такого сопровождения не годилась. Годились клавикорды.

Однако нестерпимей желания сопровождать собственное пенье игрой на клавикордах, было желание заставить других играть и петь по-своему. Не палкой, не шпигрутенами! Мелодией небывалой заставить. Хорошо б еще и растолковать каждому, что да как. А растолковав – расписать (не торопясь и той неторопливостью наслаждаясь) на ноты...

Евсигнею хотелось сочинять. Только где взять мелодий для сочинения? Свои собственные являлись туго. Нищета мелодическая – изводила.

Невзирая на сию нищету, кое-как – кособоко, по-своему – приноровившись к скрыпке и клавикордам, он теперь лишь об одних сочинениях и помышлял!

В сочинениях свободных, сочинениях небывалых мнилось ему избавление от воспитательного зажима, от жизненных неудобств, тягот. Даже и дальнейшая – по выходе из Академии – жизнь вдруг стала казаться ему громкой, славной. Представлялось долго-сладкое той жизни течение и не смертельный ее исход: исход, сочинившийся сам собою, да так, чтобы с него, с того исходу, жизнь началась заново!

Начав проживать будущую жизнь внутри себя, он вдруг наловчился просматривать ее от начала до конца за один вечер! Как ту комическую оперу, на представлении какой недавно побывал с однокашниками и наставниками.

Поразило не само оперное представление (оперой представленную «Анюту» на театре отнюдь не называли, выразился так об ней один из аматоров, а Евсигнеюшка возьми да и подслушай) поразили действующие лица, их песни.

Урод Филатка – на сцене малонужный, может, и вовсе излишний – пел:

Мы не так, как горожане,

Кои на дары богаты,
На посулы тароваты.
Инак мы живем, хрестьяне:
Хоша баем не пригоже,
Да сулим друзьям, что схоже...

Мысли такие были в новинку. Раньше ни про каких «инаких хрестьян» Евсигнеюшка полковой, Евсигнеюшка училищный и слыхом не слыхал. А тут еще удалой Мирон добавлял со сцены резвых песенных слов:

Здесь жизнь хош трудновата,
Да лучше городской.
Там всякому поклоны,
Кому ни попадись;
Толчки без обороны
Примай там, не ленись...

Истинно, истинно! Так оно в стольном граде и ведется!

Прослушана была им еще одна комическая опера: «Любовник-колдун». Тут уж прямо со сцены было объявлено: будут в представлении одне лишь русские песни. Песни и были. Да какие! По большей части Евсигнеюшке не знакомые, богатые изворотами мелодий.

Тут тебе и «Уж как по мосту, мосточку», и «Ах, как в городе в Калуге», и «Ни петь, ни есть не хочется». Еще и многие иные: «Я калинушку ломала», «Вы раздайтесь, разойдитесь», «Земляничка-ягодка» и напоследок – «Во селе было, во Покровском».

Вот где таились богатство, вот откуда можно было мелодии к себе на разлинованные листы переманивать!

После представлений оперных водили в концерт.

Музыку концертную выслушал бережно, со вниманием. Играли Лолли, Боккериния, Швинделя да Валентини. Ничто из игранного, однако, не приманило, не сразило напрочь. Зато приманила письменная про концерт объява.

Было надруковано (а внизу приписано от руки):

*«По желанию любителей музыки!
Еженедельно, по средам, после обеда, в 6 часов,
В доме князя Гагарина, что в Адмиралтейской стороне,
На улице Большой Морской, против Немецкого театра,
Будут устраивацца концерты.
Плата 1 рубль.
Без билетов же никто впущен не будет».*

Письменное извещение на вид было старо. Несколько раз его подновляли, буквицы и шрифты – глядели в разные стороны.

Подновлялось, видать, и пояснительное прибавленье: помельше, внизу объявы.

Пояснительное прибавленье (по-новому – примечание) напрочь и сразило:

*«Примечание.
Пьяные, лакеи и распутные женщины не допускаются».*

Про лакеев – как оплеушина. Еще острее и болезненней – про распутных женщин.

Кто сии распутные есть? Где обретаются? Зачем в концерты идти намерены?

После тех посещений появилось еще одно обстоятельство.

То ли со зла, то ли по глупости, но только, посмотрев и послушав «Анюту», стали приятели звать Евсигнея Филаткой.

– Вона – Филатка Ипатьев идет! – кричали наперебой соученики.

Вроде и не похож: не горбун (хоть и сутул), не урод (хоть лицо оплывшее имеет), а поди ж ты – приросло имечко!

От Филатки пришлось отбиваться кулаками.

Кулаки были сильными: скрипкой и смычком уже укрепились довольно.

Собственные руки вызывали приязнь большую, чем лицо: красивше они, исправней! К тому ж, сами за себя говорят: как ты труждаешься, по ним видно, дар Божий в них жилками бьется!

Но тут другая напасть: отбиваясь – Есёк ревел, раздирая плаксиво рот. Губы, и так немалые, от частого рева вспухали, нижняя так и вовсе отвисала. Сие чужел, губ даже не видя: одними мышцами лица. С таким-то «губошлепством», ясное дело, дурак дураком на вид!

Как только он слабость свою почуял, почуяли ее и все остальные:

– Федул – губы надул!

– Федул – штаны свои вздул!

Гул, гнул, дул, бзднул...

Академия учила одному, жизнь – иному.

Однако ж не всему в Училище воспитательном обучали так, как того Евсигнеюшке и некоторым приятелям его желалось.

«Пению учат отдельно. Игре на музыкальных снарядах – отдельно. Орхестр только создан, умеет мало, а наемные музыканты – те приходят и уходят. Што за правила? Хотя б курс театра ввели...»

Театр вскоре создан и был.

Призвание театра – по мысли Иван Ивановича Бецкого, сообщенной им кому следовало, – состояло в том, чтобы: *«отвратить воспитанников от скуки, причиняющей угрюмость, и иных недозволяемых шалостей»*.

Про шалости и угрюмость долетело и до воспитанников. Есёк тут же, себя, заклятого угрюмца, оглядывал в стеклах. Соображал: собственная его угрюмость проистекает вовсе не от скуки. К тому ж, было ему одним из хмуро алкающих печаль и наливки наставником сказано: «Угрюмость не есть скука. Угрюмость есть признак высшего разума!»

И хотя полюбить собственную угрюмость Евсигнеюшка до конца не мог, держался за нее крепко: как за кровное. Потому-то в начавшихся в Академии спектаклях – хоть и желал того страстно – участвовал редко.

Робковато пел Евсигнеюшка и в хоре. Казалось: раскрой он рот пошире, вытолкни звук посильней – и вместе со звуком упорхнет звуковое вместилище, душа, и попадет в лапы неведомо кому, и будет тем неведомо кем – вмиг проглочена!

Поэтому пел (особливо на людях) с осторожностью. Стал еще сильнее склоняться к игре одинокой: на скрипке, на клавинодах. Пробовал даже и трубу: медь надсаживала горло, зато охлаждала губы, язык, сердце. Дуть – не петь!

«С таковою трубой можно куда как осмелеть, а там и вовсе бесстрашным стать».

Была испробована и еще одна дерзость: сразу и безо всякой подготовки записывать музыку на ноты. Сие – не выходило. Тогда для поддержания собственных дерзостных устремлений начинал и бесчисленно продолжал он разбирать ноты чужие.

Нот переписанных крупно, тщательно, что для клавинодов, что для скрипки, даже и для трубы – было в академической библиотеке довольно. Нотная грамота и сама по себе влекла Евсигнеюшку. Часто – сильнее упражнений на инструментах. Ну а уж выпутываться

из нот безо всякой игры, посредством одного лишь чуткого слуха – с некоторых пор внутри у него обнаружившегося – было еще интересней.

Правда, по временам радостный интерес оборачивался тоской.

Радостно было оттого, что, повозившись вдоволь с нотами, замечал: с какого-то мига они и сами, безо всякой подмоги, звучат! Ты только взглядом до них коснись – уже и хорошо, и складно! Даже рта раскрывать не надо.

Но тут же, конечно, и грустно, потому как чудилось: сам ты нотам ничуть не нужен!

Иногда нарисованные им ноты выделявали коленца – ни в сказке сказать, ни в потешном стихе описать. Во всех уголках Питер-Бурха забавлялись и уморительно гримасничали они: курьезили на театрах, кувыркались по-над Невой, добегали до самого Шведского моря и, оттуда возвращаясь, бывало в царские палаты заскакивали. Ноты попадали во всяческие истории, а уж потом – сами истории начинали тесно плясать меж нот!

Любимая история – даже и для комической оперы пригодная – была про майора Зорича.

Передавали следующее.

Якобы тот майор Зорич в одном из сражений с турками оказал великую храбрость. А и храбрость не помогла. Всех русских перебили. Один-одинешенек Зорич остался. Сзади крутые скалы. Впереди – полукругом – турки. Подступают, вопят, вот-вот на куски майора изрубят. Тут Зорич возьми да и крикни им: «Я – капитан-паша! Ведите меня прямо к султану!»

Один из турок понимал по-русски. Растлумачил другим. Все переполошились. По ихнему капитан-паша – полный генерал. Ну изрубят они в куски крикуна-уруса, а потом султан с них живьем шкуры поснимает и в бочки с солью без шкур опускать начнет!

Так Зорич попал в плен. Почет ему султан и впрямь оказал генеральский. Сманивал веру переменить. В вере, однако, Зорич остался тверд. Да и недолго в плену ему суждено было томиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.